

**Крылья есть -  
будем жить!**

*За Родину!*  
**Смолин Павел**

Павел Смолин

**Крылья есть - будем жить!**

«Автор»

2026

## **Смолин П.**

Крылья есть - будем жить! / П. Смолин — «Автор», 2026

Игорь Гаранин пятнадцать лет вытаскивал людей с того света — садил вертолёт там, где садиться нельзя, спасал безнадежных в тайге и тундре. Сердце остановилось прямо за штурвалом. Очнулся он не на том свете и не в этой жизни — а в теле восемнадцатилетнего младшего лейтенанта Андрея Пламенева, посреди первого боевого вылета, над горящей колонной под Сталинградом. Устаревшая «Чайка», зенитный огонь, немецкие истребители — и ни секунды на осознание того, что произошло. Гаранину не привыкать держать голову холодной там, где остальные теряют её первыми. Осталось выучить: в этой войне ошибка стоит не пациента, а собственной жизни — и жизнью тех, кто рядом. Счёт войны открыт. Первый вылет позади. Впереди — вся Сталинградская битва.

# Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Конец ознакомительного фрагмента.	16

# Павел Смолин

## Крылья есть - будем жить!

### Глава 1

#### Глава 1. Последний рейс

Вертолёт шёл над тундрой на высоте триста метров, и внизу не было ничего, кроме снега, разбитого чёрными полосами застрогов, и редких пятен низкого кустарника, торчащего из наста как щетина. Гаранин смотрел не в иллюминатор, а на приборы — привычка, въевшаяся за пятнадцать лет так, что он давно перестал замечать, что делает это каждые несколько секунд, по кругу: высотомер, скорость, обороты, топливо, снова высотомер.

Пятнадцать лет он летал так, что об этом почти не думал — санитарная авиация не оставляла времени на рефлекссию, только на расчёт. Тайга, тундра, горы Путорана, площадки, на которые по инструкции садиться было нельзя, но пациент был жив только следующие полчаса, и значит садиться было нужно. Гаранин не считал себя героем — герой был словом для газет и наградных листов, а у него была просто работа, которую больше некому было делать в этом квадрате карты. Семьи у него не было — были две неудавшиеся попытки, обе развалились одинаково, на одной и той же фразе жены, что она не может делить его с небом. Он не спорил тогда. Небо действительно было первым.

Топлива хватало впритык. Он посчитал это ещё на земле, посчитал ещё раз в воздухе, когда диспетчер уточнил координаты площадки, и вышло то же самое число — впритык, но хватало, если не будет встречного ветра сильнее, чем обещали синоптики, и если посадка на месте пройдёт с первого захода.

— Видимость падает, — сказал второй пилот, Стас, не отрывая взгляда от лобового стекла.

— Вижу, — ответил Гаранин.

Видимость действительно падала — снежный заряд шёл с северо-запада, полосой, и по всем расчётам должен был накрыть площадку минут через двадцать, может, чуть раньше. У них было именно это время, ни минутой больше. Дальше на площадке ждали — обморожение обеих ног у охотника, дальняя стоянка, до ближайшей больницы шестьсот километров зимника, которого зимой не бывает. Вертолёт был единственным способом успеть до того, как счёт пойдёт на ампутации, а не на порядок и на то, сколько удастся сохранить.

Гаранин не думал об этом как о драме. Он думал об этом как о задаче с несколькими переменными, и переменные нужно было держать под контролем одну за другой. Ветер. Видимость. Топливо. Площадка, про которую известно только, что она есть и что садиться на неё раньше не приходилось. Он не боялся — за пятнадцать лет спасательных вылетов страх как отдельное чувство куда-то делся, остался только рабочий счёт: что можно сделать, чего нельзя, и что произойдёт, если что-то пойдёт не так.

Площадка открылась внезапно — плоский пятачок между двух холмов, с одной стороны провод ЛЭП, тонкий, чёрный, почти невидимый на фоне серого неба. Гаранин зашёл с подветренной стороны, снизился, придержал машину над самой землёй, дал ей осесть медленно, без рывка. Снег взвился вихрем под лопастями, закрыл всё на секунду, потом осел.

— Сели, — сказал он.

Дальше было то, что он делал сотни раз: носилки, тёплые одеяла, быстрый разговор с людьми на площадке — где болит, сколько времени прошло, какая помощь уже оказана. Охотник был в сознании, бледный, губы синие, и Гаранин, глядя на него, оценил шансы — успеют,

если не тянуть. Погрузка заняла четыре минуты. Он засёк время не специально, просто привычка считать всё, что можно посчитать.

Взлетели с тем же снежным вихрем, тем же ровным движением машины вверх, и снежный заряд, который должен был накрыть площадку через двадцать минут, теперь оставался позади, левее по курсу — они уходили от него, а не в него, и это было хорошо, это было ровно так, как рассчитано.

Обратный путь всегда был легче — груз сдан, задача выполнена, напряжение расходуется по телу медленно, как отходит холод из замёрзших пальцев. Гаранин откинулся на спинку кресла на несколько секунд, позволил себе это, хотя обычно не позволял ничего лишнего в полёте.

Боль пришла резко, будто кто-то с размаху вогнал под левую лопатку что-то твёрдое и раскалённое. Гаранин узнал её сразу — не потому что она у него уже была, а потому что он слишком много раз видел эту боль в чужих глазах, слишком много раз возил людей именно с этим лицом, серым, покрытым мгновенной испариной.

Он не закричал и не схватился за грудь — тело среагировало иначе, руки на секунду напряглись на рычагах, и он понял: если сейчас отпустить машину, она пойдёт вразнос, а внизу не тундра, внизу низкие сопки, и падать некуда.

— Стас, — сказал он, и голос вышел ровнее, чем он ожидал. — Принимай управление. Со мной плохо. Сердце.

Стас среагировал быстро — руки легли на свои рычаги, взгляд метнулся на Гаранина и обратно на приборы.

— Понял, принял, — ответил он. — Держись, командир.

Гаранин успел ещё сказать координаты ближайшей площадки — не той, с которой они взлетели, а другой, южнее, где была хоть какая-то связь с землёй, хоть какая-то возможность довести его быстрее. Слова выходили короче, чем он хотел, потому что боль теперь не отпускала, разрасталась по всей груди, отдавала в руку.

— В аптечке нитроглицерин, слева, — сказал он. — Дай.

Стас одной рукой полез в аптечку, не отрывая взгляда от приборов, нашёл таблетку, сунул ему под язык. Гаранин почувствовал горечь на языке и понял, отстранённо, профессионально, что это, скорее всего, не поможет — не в этот раз, не при такой боли.

Он не думал о смерти как о трагедии. Он думал о ней как о ещё одной вводной, которую нужно было как-то встроить в оставшееся время: сказать всё нужное, пока можно говорить, не мешать Стасу вести машину, не создавать паники там, где паника убьёт быстрее, чем сердце.

— Курс держи, — сказал он. — Всё делаешь правильно.

Дальше слова стали получаться хуже. Свет из иллюминатора начал будто тускнеть по краям, хотя снаружи ничего не изменилось — просто зрение сужалось, как в тоннеле, и Гаранин успел подумать, снова отстранённо, что это последняя переменная в его личном уравнении, и она уже не поддаётся расчёту.

Темнота пришла не как удар и не как провал. Она пришла как выключение света посреди фразы, которую он не успел договорить — сам не заметил, на каком слове.

Не было туннеля, не было итогов жизни, пронёсшихся перед глазами, не было ни сожалений, ни примирения. Была просто пустота, ровная и безразличная, без верха и низа, без времени.

Сколько это длилось — Гаранин потом никогда не смог бы сказать. Может, секунду. Может, дольше.

Звук вернулся раньше, чем зрение, и звук был неправильный.

Не ровный гул турбины Ми-8, к которому ухо привыкло за пятнадцать лет так, что оно перестало его замечать, — а другой мотор, более грубый, с надрывом, с перебоями в такте, будто внутри что-то работало на пределе и вот-вот собиралось развалиться. И крики. Крики

на русском — но интонации были другие, старые, с оборотами речи, которые Гаранин слышал разве что в фильмах про войну, и то не в этих фильмах, а в тех, довоенных ещё, чёрно-белых, которые крутили по праздникам.

— Горит! Горит! Уходи, уходи вправо!

Голос был совсем рядом, кричал по радио, забитому треском и шипением, и Гаранин — то, что ещё оставалось Гараниным, — попытался понять, откуда идёт этот голос, и не смог, потому что не понимал вообще ничего: ни где он, ни что происходит, ни почему тело реагирует раньше, чем приходит осознание.

Зрение вернулось рывком, будто кто-то сдёрнул повязку с глаз.

Кабина была открытой. Ветер бил в лицо, ледяной, страшный по скорости, выжимающий слёзы из глаз раньше, чем успеваешь моргнуть. Приборная доска впереди была незнакомой — но не полностью: были узнаваемые формы, круглые циферблаты, стрелки, что-то похожее по компоновке на старые Ан-2, на которых Гаранин учился летать ещё курсантом, тридцать лет назад, — но не то, совсем не то. Проще. Грубее. Меньше приборов, чем должно быть.

Руки — не его руки, чужие, моложе, тоньше в запястье — вцепились в ручку управления так, что побелели костяшки, судорожно, на грани паралича.

Под крылом — крыльями, их было два, одно над другим, биплан, понял Гаранин с каким-то отстранённым, почти академическим удивлением, — что-то горело. Огромное, растянутое внизу пятно огня и чёрного дыма, поднимающегося столбом, таким плотным, что казался почти материальным, почти твёрдым.

Мотор ревел неровно, с переборами, и вокруг — теперь Гаранин начинал различать — были другие такие же машины, ещё несколько, они шли строем, разворачивались, и голос в наушниках — в чём-то похожем на наушники, тесном, кожаном шлеме — продолжал кричать, требовать, приказывать что-то про заход, про высоту, про то, что нельзя терять строй.

Последней ясной мыслью было простое, почти смешное на фоне всего происходящего понимание: это не Ми-8. Это вообще не вертолёт.

Голос в наушниках выкрикнул ещё что-то — номер, позывной, короткий и резкий, как выстрел, — и рядом, чуть выше и левее, мелькнула ещё одна такая же машина, тоже с двумя крыльями, тоже выкрашенная в тёмно-зелёный, с красными звёздами на бортах, которые Гаранин увидел и не успел ничего о них подумать. Земля внизу была не тундрой и не сопками — плоская, разрезанная дорогой, по которой ползла колонна техники, крошечной с высоты, но узнаваемой по силуэтам: грузовики, что-то тяжёлое, гусеничное, и над всем этим — то самое горящее пятно, чёрный столб, от которого разлетались по ветру ключья дыма пожиже.

Запах ворвался в кабину вместе с ветром — гарь, бензин, что-то ещё, острое и чужое, ничего общего с запахом керосина, к которому Гаранин привык за пятнадцать лет. Мотор впереди трясся мелкой дробью, будто вот-вот собирался развалиться на части, и это тоже было незнакомо — Ми-8 никогда так не трясло, даже на пределе.

А дальше мысль оборвалась, потому что тело — чужое тело, которое каким-то образом теперь было его телом, — качнулось от резкого порыва ветра, и руки на ручке управления дрогнули, и машина клюнула носом вниз, в сторону того самого горящего внизу, чёрного и огромного пятна.

Земля начала расти в лобовом стекле — не медленно, как в кино, а быстро, слишком быстро, и это было единственное, что Гаранин понял сразу и однозначно: машина падает, и падает не потому что сломалась, а потому что чужие руки на ручке управления трясутся крупной дрожью и тянут её не туда.

Пятнадцать лет рефлексов не спрашивали разрешения. Гаранин — то, что от него осталось, свёрнутое в комок посреди чужой головы, — перехватил управление тем же самым движением, каким тысячу раз выравнивал вертолёт после порыва ветра или отказа одного из двигателей: не рывком, а плавным нажимом, компенсируя, а не борясь.

Ручка пошла туго — чужие пальцы всё ещё вцепились в неё судорожно, и Гаранин действовал не против них, а сквозь них, как будто вёл машину чужими руками, надавливая изнутри. Нос начал подниматься. Скорость упала, потом снова выросла, когда он довернул педали — ногами, которые тоже были не его ногами, но подчинялись тому же самому желанию не разбиться.

Триста метров. Двести пятьдесят. Гаранин считал высоту машинально, тем же голосом внутри головы, каким считал её всю жизнь, хотя стрелка на приборе была незнакомой формы и цифры на ней стояли другие. Двести. Машина выровнялась в сотне метров над землёй, так низко, что дым от горящей колонны на секунду закрыл всё лобовое стекло плотной чёрной пеленой, и в этой черноте не было видно ничего, только рёв мотора и ветер.

Дым остался позади. Гаранин потянул ручку на себя, набирая высоту, аккуратно, без резких движений — тело реципиента было на грани обморока от одного мышечного перенапряжения, и лишняя перегрузка могла его добить раньше, чем что-либо ещё.

Голос в наушниках сказал что-то одобрительное, короткое, но непонятное по смыслу — набор позывных и цифр, — и Гаранин отметил, отстранённо, что кто-то там, в воздухе рядом, видел этот момент и, кажется, решил, что пилот просто удачно вышел из болтанки.

Щелчок случился где-то внутри, не физически, а как будто в голове повернули невидимый рубильник, и в свободное пространство сознания хлынуло сразу всё.

Андрей Пламенев. Восемнадцать лет. Три недели как из училища — из Энгельсской школы пилотов, ускоренный выпуск, война не оставляла времени на положенные сроки обучения. Это первый боевой вылет. Группа из шести И-153 — «Чаяк», так их называли, теперь Гаранин знал название машины, — работает по колонне немецкого снабжения, идущей к Сталинграду. Ведущий группы — старший лейтенант, позывной «Сокол-один». Задача — штурмовка, бомбы и реактивные снаряды по автотранспорту, потом на второй заход, если позволит обстановка.

Знание пришло не как воспоминание, а как готовый пласт фактов, будто кто-то методично разложил перед ним карту с подписями. Гаранин знал теперь, что кабина открыта, потому что фонарь на этой модели сдвигается назад и почти никогда не закрывается в бою — обзор важнее защиты от ветра. Знал, что скорость машины — чуть за триста километров в час на снижении, и это ничтожно мало по меркам той жизни, которую он вёл минуту назад, но здесь, сейчас, это была вся скорость, что была.

Знал, что там, внизу, немцы. И вместе с этим знанием пришло что-то ещё, что-то, не принадлежавшее ни Гаранину, ни, кажется, до конца самому Пламеневу — глухая, тяжёлая, почти физическая ненависть, въевшаяся в тело реципиента глубже страха. Не истерика, не ярость — просто данность, как гравитация.

— Сокол-три, доложи обстановку, — потребовал голос в наушниках, и Гаранин понял, не думая, что позывной обращён к нему.

Он не ответил сразу — не потому что не знал, что сказать, а потому что тело всё ещё подрагивало от напряжения, и голос, который вышел бы сейчас, вряд ли звучал бы уверенно.

— Сокол-три в норме, — сказал он наконец, и голос вышел ровнее, чем он ожидал, тем же ровным тоном, каким Гаранин докладывал диспетчерам после самых скверных заходов на посадку в своей прошлой жизни. — Иду на второй заход.

Ведущий скомандовал перестроение, и группа развернулась широкой дугой, заходя на колонну со стороны низкого солнца — Гаранин отметил этот манёвр с профессиональным одобрением ещё до того, как вспомнил, что это стандартная тактика, вбитая в Пламенева на инструктаже: заходить так, чтобы зенитные расчёты стреляли против света.

Внизу колонна растянулась вдоль дороги на километр с лишним — грузовики, несколько бронетранспортёров, между ними что-то похожее на буксируемые орудия. Головная часть уже

горела с первого захода, но хвост колонны расплзлся в стороны, машины съезжали в кюветы, пытаясь рассредоточиться.

— Атака, — коротко сказал ведущий.

Гаранин перевёл машину в пологое пикирование. Земля снова начала расти в лобовом стекле, но на этот раз это происходило под его контролем, размеренно, с расчётом угла и скорости сближения — привычка мерить траектории снижения работала одинаково что для вертолёта в тундре, что для биплана над степью.

Гашетка бомбосброса была под большим пальцем правой руки — реципиент знал, куда её нажимать, руки помнили порядок действий лучше, чем помнила голова. Гаранин отсчитал дистанцию до цели — грузовик с цистерной, отставший от основной группы, — и в нужный момент нажал.

Машина вздрогнула, освобождаясь от веса. Гаранин потянул ручку на себя, выводя из пикирования, и краем глаза, оборачиваясь, увидел внизу вспышку и клуб пламени там, где секунду назад стояла цистерна.

Попадание. Никакой эйфории не было — было только рабочее, сухое ощущение выполненной операции, то самое чувство, с которым он когда-то закрывал удачную эвакуацию: груз доставлен, задача решена.

Разрывы зенитных снарядов начали вставать вокруг группы — сначала редко, потом чаще, серые кляксы дыма, вспыхивающие то слева, то справа, то ниже. Гаранин уводил машину короткими доворотами, не по прямой, интуитивно ломая траекторию так, чтобы расчётчикам внизу было труднее взять упреждение — вертолётный опыт полётов под возможным обстрелом браконьеров и просто нервных охотников с ружьями в тайге откликнулся здесь неожиданно к месту.

— Все, кто отработал — на сбор, — скомандовал ведущий. — Уходим левым разворотом.

Группа потянулась в сторону от колонны, набирая высоту, оставляя позади три или четыре очага пожара вдоль дороги. Гаранин пристроился в строй, механически, но правильно, будто делал это сотни раз, хотя тело всё ещё была мелкая дрожь пополам с чужим, непривычным облегчением.

Обратный путь занял чуть больше получаса — Гаранин вёл счёт времени по тому же внутреннему хронометру, что работал в нём всю жизнь, хотя циферблата перед глазами не было, только солнце, спускавшееся к горизонту слева по курсу.

Мысли постепенно укладывались в какое-то подобие порядка. Он был мёртв — Гаранин это понимал отчётливо, без сомнений и без попыток убедить себя в обратном: инфаркт, темнота, обрыв. А потом — вот это. Чужое тело, чужая война, чужое имя, которое теперь придётся носить как своё, потому что другого выбора, кажется, не было и не предвиделось.

Он не позволил себе задерживаться на этой мысли дольше, чем требовалось. Слишком много вводных требовали внимания прямо сейчас: машина, о которой он ничего толком не знал, кроме того, что она называется «Чайка» и что она открытая, тряская и слишком медленная; аэродром впереди, о расположении которого он знал ровно то, что успел получить вместе со «слиянием»; люди вокруг, для которых он должен был оставаться Андреем Пламеневым, восемнадцатилетним новичком, а не тридцатилетним пилотом санавиации, только что пережившим смерть.

Аэродром показался внизу неожиданно — россыпь маскировочных сетей вдоль опушки, несколько бипланов, рассредоточенных по краю лётного поля, выющийся вдалеке дымоклевой кухни. Ведущий группы начал заход на посадку первым, остальные потянулись следом с интервалом.

Гаранин зашёл на снижение так, как заходил бы на незнакомую площадку в тундре — оценивая ветер по сносу, выбирая точку касания с запасом, готовый уйти на второй круг при

малейшем сомнении. Полоса — если это можно было назвать полосой — оказалась просто ровным участком грунта, укатанным колёсами десятков предыдущих посадок.

Машина коснулась земли жёстче, чем следовало, подпрыгнула один раз на неровности, но выровнялась и покатилась, гася скорость. Гаранин зарулил в сторону от полосы, туда, где стояли остальные вернувшиеся «Чайки», и заглушил мотор.

Тишина, пришедшая после этого, была почти оглушительной — только потрескивание остывающего мотора да далёкие голоса на краю поля. Гаранин сидел неподвижно ещё несколько секунд, не потому что не мог пошевелиться, а потому что не был до конца готов встретиться с тем, что произойдёт дальше — с людьми, которые ждали от него ответов на вопросы, которых он пока не знал, как задавать самому себе.

Потом он снял руки с рычагов управления, чужие, дрожащие ещё едва заметно, и начал выбираться из кабины.

## Глава 2

### Глава 2. Аэродром

К машине подбежали раньше, чем Пламенев успел отстегнуть привязные ремни. Первым оказался невысокий крепкий мужик в промасленном комбинезоне — воентехник, судя по тому, как он с ходу обошёл машину по кругу, ощупывая обшивку взглядом профессионала, для которого самолёт был не техникой, а живым организмом на постоянном учёте.

— Ну заездил, — буркнул он, найдя первую пробоину в крыле, у самой законцовки. — Ещё бы на левую плоскость чуть ближе — и всё, разговор окончен.

Пламенев выбрался из кабины на нетвёрдых ногах — тело реципиента всё ещё мелко дрожало после напряжения, и Гаранин внутри отметил это отстранённо, тем же тоном, каким констатировал бы усталость мышц у пассажира после долгого перелёта.

— Гуляев, — представился техник, не поднимая головы от второй пробоины, чуть ближе к фюзеляжу. — Фома Аникеевич. Твоя машина теперь, значит, будет — я закреплённый.

— Пламенев, — ответил он.

— Знаю уже, — Гуляев махнул рукой в сторону штаба. — По списку эскадрильи всех знаю ещё до того, как они здороваться начинают. Ну что, — он наконец выпрямился, отряхнул ладони, — жить будет машина. Две дырки не смертельные, обшивку залатаю к утру, движок вроде цел. Тебе повезло больше, чем крылу.

Он произнёс это без тени сочувствия — как диагноз, а не утешение. Гаранин, наблюдая за ним изнутри чужой головы, узнал знакомый тип: специалист, для которого техника важнее человека ровно настолько, насколько техника капризнее и требовательнее в уходе. С людьми Гуляев, судя по всему, разговаривал короче, чем с моторами.

— Заправить успею до следующего вылета? — спросил Пламенев, и вопрос вышел деловым, привычным — будто он спрашивал об этом уже сотню раз.

Гуляев глянул на него быстро, с лёгким прищуром, но ничего не сказал — просто кивнул и отвернулся к хвостовому оперению, продолжая осмотр.

— Машина у тебя не новая, — заметил он через плечо, простукивая обшивку костяшками пальцев в поисках скрытых повреждений. — Восемнадцатый год выпуска движку, латали её уже трижды до тебя. Прежний хозяин, — он мотнул головой куда-то в сторону, не уточняя, — не долетал до вечера третьего дня. Так что ты с ней аккуратнее, она характер помнит.

Фраза прозвучала буднично, без всякого драматизма — просто ещё одна техническая справка, вроде расхода топлива или ресурса мотора, — но Пламенев уловил в ней то, что Гуляев, скорее всего, и не собирался вкладывать: список машины был одновременно и списком людей, которые её теряли.

— Понял, — сказал он просто.

Гуляев хмыкнул одобрительно — судя по всему, ждал от новичка либо испуганного вопроса, либо бравады, а получил ни то ни другое.

Дегтярёва Пламенев увидел ещё на подходе к штабной землянке — тот стоял у входа с планшетом в руках, невысокий, коренастый, в замусоленной гимнастёрке без знаков различия, если не считать двух кубарей на петлицах. Взгляд у капитана был усталый, но цепкий — взгляд человека, который за день успевает провести десяток таких разговоров и не намерен тратить на них больше времени, чем нужно.

— Докладывай, — бросил он, не здороваясь. — Сколько машин в колонне уничтожено группой, что видел лично.

Пламенев ответил коротко, по пунктам — цистерна, попадание прямое, взрыв, разброс осколков накрыл ещё один грузовик рядом. Данные пришли изнутри легко, будто Гаранин

просто зачитывал бортовой журнал, а не пересказывал события часовой давности из чужой, только что обрётённой памяти.

Дегтярёв слушал, не перебивая, и когда Пламенев закончил, чуть прищурился — не подозрительно, а с тем особым вниманием, с каким смотрят на что-то неожиданное, не вписывающееся в привычную картину.

— Первый вылет? — уточнил он.

— Первый.

— Хм, — Дегтярёв постучал карандашом по планшету. — Обычно после первого боя докладывают через слово — то ли от страха язык заплетается, то ли от радости, что живой. У тебя — как по уставу.

— Контузия, — сказал Пламенев после короткой паузы, тем же ровным тоном. — В училище, при облёте. Врачи говорили — реакция может быть заторможенная, зато без паники.

Это была первая ложь, которую Гаранин произнёс новыми, чужими губами, и он отметил, с каким лёгким изумлением слушает сам себя: объяснение родилось само, будто где-то на периферии сознания уже была заготовлена нужная легенда — или сам Пламенев, ещё до вселения, уже успел где-то обронить похожую фразу, а Гаранин просто её подхватил.

Дегтярёв кивнул, принимая объяснение без дальнейших расспросов — контузии в те дни были делом обычным, не требующим доказательств.

— Ладно, — он сделал пометку в планшете, потом полистал пару страниц назад и добавил ещё одну. — По документам ты после Энгельса. Налёт часов небольшой, программу сократили — сам знаешь, время такое. Значит, слушай сюда: правило простое. Заходишь на цель — один раз. Отработал — уходишь. Хочешь красиво добить недобитое — забудь, для этого будет следующий вылет, не этот. Зенитка бьёт по второму заходу вдвое точнее, чем по первому, потому что уже пристрелялась. Тех, кто этого не понимает, у меня в полку долго не держится, если ты понимаешь о чём я.

— Понимаю, — ответил Пламенев.

— Хорошо бы, — Дегтярёв смерил его ещё одним быстрым, оценивающим взглядом. — Ты не первый новичок, кто отвечает мне «понимаю» после первого вылета. Через неделю посмотрим, у кого это слово хоть что-то значит.

Он не сказал этого зло — скорее устало, тем тоном, каким говорят вещи, повторённые уже слишком много раз слишком многим молодым лицам, часть из которых потом не возвращалась с задания.

— Ладно, — он сделал пометку в планшете. — Отдыхай, до ужина свободен. Завтра с рассветом опять на вылет.

От штабной землянки Пламенева отловил не Дегтярёв и не Гуляев, а человек лет двадцати с небольшим, чернявый, с быстрыми смеющимися глазами и говором, в котором сразу узнавалась Одесса — характерные растянутые гласные, южная мелодика, которую даже три недели фронта не смогли выветрить.

— Ну ты глянь, — сказал он, беззастенчиво разглядывая Пламенева с ног до головы. — Мандраж прошёл уже, братишка, или ещё колотит?

— Прошёл, — ответил Пламенев.

— Врёшь, — весело констатировал незнакомец, но без всякой обиды в голосе. — Все врут в первый день. Я тоже врал — сказал, что нормально всё, а у самого руки тряслись так, что за ужином ложку до рта донести не мог, полтарелки на гимнастёрку вылил.

Он расхохотался собственному воспоминанию, хлопнул Пламенева по плечу с той бесцеремонной лёгкостью, с какой обращаются со своими, не спрашивая разрешения на панибратство.

— Гоша Прилуцкий, — представился он. — Одесса, если поговору не понял. Пошли, покажу тебе, где тут что — а то Дегтярёв только про машины разговаривать умеет, про людей забывает рассказать.

Пламенев пошёл за ним, и Гаранин, наблюдая изнутри, поймал себя на странном, почти забытом ощущении — что-то похожее на облегчение, первое за всё время в новом теле. После жёсткой деловитости Дегтярёва и молчаливой практичности Гуляева Прилуцкий был первым глотком тепла посреди чужой войны — глотком, за который Гаранин, не привыкший нуждаться ни в чьей компании, неожиданно оказался благодарен.

— Вон там Ахметов сидит, весь полк по циферкам разложил, — Прилуцкий махнул рукой в сторону соседней землянки. — Вон там Ежова — если что болит, туда, но она добрая, только для порядка ворчит. А там, — он понизил голос с притворной торжественностью, — там Волынцев. Лучший лётчик эскадрильи, сам тебе скажет об этом раньше, чем ты спросишь.

— Завидуешь? — спросил Пламенев.

— Есть немного, — Прилуцкий пожал плечами, ничуть не смутившись. — Но он свой парень, не задирает нос без повода. А повод у него, надо признать, имеется.

Волынцева они увидели у входа в соседнюю землянку — тот сидел на снаряжном ящике, вытянув ноги, и с ленивым интересом наблюдал за тем, как двое механиков спорят из-за какой-то детали. Высокий, светлый, с уверенной, чуть небрежной посадкой плеч человека, привыкшего, что на него смотрят.

— Пополнение? — бросил он, не вставая, окинув Пламенева коротким оценивающим взглядом.

— Пополнение, — подтвердил Прилуцкий за него. — Первый вылет сегодня, цистерну сжёг.

— Неплохо для первого раза, — заметил Волынцев без особого выражения, будто выставлял оценку по шкале, известной только ему.

Замечание прозвучало не как насмешка и не как высокомерие — скорее как констатация факта, брошенная мимоходом, между делом. Пламенев не нашёлся, что ответить, и просто кивнул.

— Ладно, иди осваивайся, — Волынцев чуть улыбнулся, впервые за разговор, и в этой улыбке было что-то неожиданно располагающее. — Первый день никто не запоминает толком, кроме страха. Второй уже интереснее.

Он вернулся к наблюдению за механиками, и Прилуцкий потащил Пламенева дальше, довольный произведённым эффектом.

— Видал? — шепнул он, отойдя на несколько шагов. — Он со всеми новичками так — оценит и забудет. А если запомнит фамилию — считай, ты чего-то стоишь.

Землянка, куда Прилуцкий привёл его к вечеру, оказалась тесной, но обжитой — нары в два яруса, копящая лампа на грубо сколоченном столе, запах прелой соломы, пота и махорки. Человек шесть или семь сидели вокруг стола, кто-то штопал гимнастёрку, кто-то писал письмо, придерживая локтем от сквозняка.

Пламенев сел с краю, взял протянутую кем-то кружку с чаем — жидким, чуть подслащённым, но горячим, — и стал слушать. Разговор шёл вразнобой: кто-то жаловался на скудость пайка, кто-то передавал последние слухи с передовой — Сталинград горит третью неделю, немцы прорвались к самой Волге в районе завода, бои идут за каждый этаж, за каждую лестничную клетку.

— Брат у меня там, — сказал негромко один из лётчиков, худой, с тёмными кругами под глазами. — Пехота. Третий месяц ни одного письма.

Никто не нашёлся, что на это ответить — просто повисла короткая пауза, после которой разговор сам собой сместился на что-то менее тяжёлое: кто откуда родом, у кого какая невеста осталась дома, какая там сейчас погода.

— А у тебя как дома, Пламенев? — спросил кто-то из глубины землянки — коренастый парень с забинтованной кистью, судя по всему, недавно вернувшийся с перевязки. — Родители, невеста?

Вопрос застал врасплох — не самого Пламенева, память которого послушно предоставила нужные факты, а Гаранина, который на секунду замешкался, отделяя чужие воспоминания от собственных пятидесяти с лишним лет одинокой, по сути, жизни.

— Мать на Урале, — ответил он, и слова выходили ровно, будто он произносил их не в первый раз. — Отец погиб в сорок первом. Невесты нет — не успел, из училища сразу сюда.

— Молодой ещё, — беззлобно заметил кто-то, и разговор снова покатился дальше, не задерживаясь.

Пламенев слушал больше, чем говорил, и Гаранин внутри него методично раскладывал услышанное по полочкам — не потому что не знал этой истории, а потому что видел её теперь не с высоты школьного учебника, а изнутри, чужими ушами, слышащими её как непосредственное настоящее, а не давно устоявшийся факт из прошлого. Он знал, чем закончится эта осень. Знал про Паулюса, про «Уран», про капитуляцию в феврале. Знал даже то, чего пока не знал никто из сидящих в этой землянке — что бои за Сталинград войдут в историю как перелом всей войны.

Он промолчал. Не потому что боялся сказать лишнее — а потому что понимал: любое знание об исходе не спасёт сейчас ни одного из этих людей, только собьёт с толку, если вообще будет воспринято всерьёз.

— А ты чего молчишь всё, новенький? — окликнул его кто-то через стол.

— Слушаю, — ответил Пламенев. — Многого ещё не знаю.

— Узнаешь, — хмыкнул Прилуцкий, подливая себе чаю. — Тут быстро всему учат. Быстрее, чем в училище.

Кто-то в углу тихо, себе под нос, затянул что-то простое, без особого голоса, скорее для собственного успокоения, чем для слушателей — мелодию Пламенев не узнал, зато Гаранин отметил, с каким естественным умением люди в этой землянке умели заполнять паузы после тяжёлых новостей чем-то будничным, не давая тишине превратиться в отчаяние. Никто не просил замолчать. Никто и не подхватывал особо — просто фон, ещё один способ пережить вечер.

— Пошли, — сказал Прилуцкий чуть позже, когда разговоры за столом начали стихать. — Баня сегодня топится, второй раз в неделю такое счастье. Не был ещё?

Пламенев помотал головой, и Прилуцкий довольно осклабился, будто ему выпала честь показать новичку что-то особенное.

Банька оказалась низким срубом на самом краю аэродрома, врытым наполовину в землю, с прокопчённым нутром и низким потолком, о который Пламенев чуть не приложился с непривычки. Топилась она по-чёрному — дым уходил не в трубу, а прямо в дверной проём, и запах горелого дерева стоял такой плотный, что с непривычки перехватывало горло.

Но когда Пламенев, раздевшись, шагнул в парилку и первый жар обдал тело с ног до головы, дыхание перехватило уже по другой причине.

Гаранин не ожидал от себя такой реакции. Пятнадцать лет он летал в вертолётах, где после долгой смены единственной роскошью была горячая вода в душевой на базе, если повезёт — и не жаловался, потому что не с чем было сравнивать. А здесь, в этом продыmlенном срубе на краю прифронтового аэродрома, простой жар, простой пар, поднимающийся от раскалённых камней, окатил тело таким чистым, почти животным наслаждением, что на секунду перед глазами всё поплыло — не от угара, а от того, насколько же сильно нужно было телу это тепло после дня, вместившего смерть, чужую жизнь и первый бой.

Он сел на полку, прикрыл глаза, позволил жару делать своё дело — вытапливать из мышц накопившееся за день напряжение, тянущую боль в плечах от судорожной хватки на ручке управления, дрожь, которая всё ещё изредка проскакивала где-то в кистях.

— Ну как? — донёлся довольный голос Прилуцкого откуда-то сбоку. — Хороша банька, да? Я тебе скажу, братишка, я в Одессе к настоящему банщику ходил, у него там всё было — и веники, и квас холодный, и разговоры на два часа. А этот банщик, зараза, мыло воровал у клиентов, представляешь? Полкуска сунешь на полку, отвернёшься — и нету уже.

Прилуцкий хохотнул собственному воспоминанию и тут же, не дожидаясь ответа, схватил веник, лежавший тут же на лавке, и с размаху хлестнул себя по спине, крикнув от удовольствия.

— На, — он протянул второй веник Пламеневу. — Не стесняйся, гость дорогой. Тут попростому, но от души.

Пламенев взял веник неловко — тело реципиента, судя по всему, никогда толком не парилось, а вот руки Гаранина, помнящие совсем другую жизнь, тоже никогда этого не делали, так что оба хозяина этого тела оказались одинаково беспомощны перед нехитрой наукой. Прилуцкий, заметив заминку, беззлобно рассмеялся и показал сам, как правильно — не хлестать, а нагонять жар, лёгкими взмахами.

Дым, жар, запах распаренной листвы, беззаботный смех Прилуцкого — всё это вместе создавало ощущение, которого Гаранин не испытывал уже очень давно, а может, не испытывал вообще никогда в прежней жизни: чистого, ничем не омрачённого физического покоя, вырванного прямо посреди войны, посреди чужого тела, посреди дня, который начался инфарктом за штурвалом вертолёта и продолжился первым в жизни боевым вылетом на устаревшем биплане.

Он не думал сейчас ни о Сталинграде, ни о статистике, ни о том, что будет завтра на рассвете. Он просто сидел в жаре, слушал, как Прилуцкий рассказывает очередную одесскую байку про соседа-контрабандиста, и позволял себе — впервые за этот длинный, невозможный день — ничего не считать.

Выходили они из бани уже затемно — небо над аэродромом расчистилось, и звёзды стояли крупные, холодные, совсем не такие, к каким Гаранин привык в тайге, но по-своему узнаваемые: та же Большая Медведица, тот же Млечный Путь, растянутый через полнеба. Прилуцкий, всё ещё красный от пара, шёл рядом, насвистывая что-то себе под нос, и молчал впервые за вечер — видимо, тоже устал говорить.

— Ну что, — сказал он наконец, когда они подошли к землянке, — заваливаемся спать, что ли. Завтра опять на рассвете кому-то из нас в небо, статистику полку пополнять.

Он произнёс это без всякой мрачности — обычная фраза, констатация распорядка, а не предчувствие. Пламенев кивнул, и, устраиваясь на жёстких нарах, укрытый шинелью, почувствовал, как тело реципиента наконец расслабляется по-настоящему, впервые с той секунды, как в нём шёлкнуло чужое сознание.

Гаранин, засыпая в чужом теле в чужой войне, успел подумать напоследок только одно: что бы ни ждало его завтра, сегодняшний день он прожил — и, кажется, прожил не так уж плохо для человека, который утром ещё считал себя мёртвым.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.